

Иду за ней

Она говорит, что мы знакомы с ней тысячу лет. Врёт, конечно. Женщины склонны преуменьшать всё, что касается их возраста.

Мы познакомились на триста лет раньше. Это было в самом начале реконкисты в одной из астурийских деревушек.

Наше ополчение тогда только что вышло из долины Кавадонга, разгромив там отряд арабов-завоевателей. Мы были измотаны сражением, но всё равно опьянены нашей первой победой. Я увидел её во внутреннем дворике постоялого двора, где она развешивала бельё.

Она была необыкновенно красива. Я не смог бы описать её красоту известными мне словами, как ни пытался бы сделать это. Так что, даже не просите. Просто напрягите своё воображение, стегните его плетью по взмыленному крупу, и пусть оно понесёт вас в романтические выси, в небесные дали. Возможно, что где-то там, среди райских кущей, среди сонмов обалдело орущих от непрестанно льющихся на их спины и головы потоков бесконечного счастья небесных созданий, вам удастся разглядеть нечто похожее на её лик. Но даже и этот увиденный вами второпях образ не сможет передать вам всей силы её божественной красоты.

Она была божественно красива.

Она улыбнулась мне и попросила сыграть на флейтах.

– Я не умею играть на флейтах. И флейты у меня нет ни одной, – смущённо ответил я ей, улыбнувшись в ответ.

– Ты играй и не переживай ни о чём. Я умею это.

Поправив окровавленную повязку на голове, я заиграл сразу на трёх флейтах.

Умела играть она превосходно.

Весь наш маленький дворик удивительно быстро наполнился чарующими звуками музыки, которая, вырвавшись из тесных стен на простор деревенских улиц, превращала воздух этих улиц в праздник.

Забыв про ноющие раны и усталость, мои товарищи, как дети, радовались этому празднику.

Она радовалась вместе с ними и вместе со мной.

Так продолжалось семь дней.

Вскоре моего господина выбрали королём Астурии, и дела позвали меня в дорогу. Но даже и там, вдалеке, я не переставал ощущать её присутствие.

Прохладный ветер по ночам приносил мне запах её волос. Горный ручей нашёптывал мне её имя. Мерцание звёзд ткало в ночном небе её облик.

С наступлением зимы она пропала.

Нарушив клятву верности своему господину, я сел на коня и отправился на её поиски.

Утратившие праздничный вид, а вместе с ним и приветливость, люди в той деревне сказали мне, что её изгнали как колдунью, напустившую на окрестные поля злые чары.

Я ничего не сказал этим людям и отправился дальше. Лишь бросил рассеянный взгляд на окрестные поля. Их заснеженная поверхность не сказала мне ничего о присутствии злых чар. Может, тут было дело в зиме?..

* * *

Я поймал её след на юго-западе королевства франков спустя долгих семь месяцев безуспешных поисков.

Встречавшиеся мне путники говорили, что она ходила по городам и танцевала на площадях, собирая там скудное подаяние.

Я ничего не смыслю в танце, но верю людям, говорившим, что за всю историю Гаскони, Наварры и Прованса они не видели более красивого танца.

И ещё говорили они, что в этом танце была скрыта пляска дьявола. Волной людских проклятий, ругательств и зависти эта пляска гнала её всё дальше и дальше...

Из города в город я неумоимо шёл по её следу.

Мой путь привёл меня к воротам Генуи, когда виноградники на склонах холмов совсем опустели.

Здесь мне рассказали о некоей деве, которая удивительно точно предсказывала события и явления.

Я спросил, где её найти.

Довольные собой генуэзцы ответили мне:

– Мы изгнали её с хохотом и позором за вздор, который она предрекла однажды.

– Что же это за вздор? – спросил я.

– Она предрекла нам, будто настанет время, когда уроженец Генуи, отправившись в далёкое плавание на трёх утлых судёнышках, откроет полмира, – гордо ответили они мне.

– Но ведь может оказаться и так... – неосторожно возразил я.

За эти слова меня тоже прогнали за городские ворота, обидно кинув мне вслед:

– Невежда! Невозможно открыть то, что давным-давно открыто! Уж не собирается ли он открывать берега Понта Евксинского или дикого Альбиона?!!

Я не стал возражать. Я ничего не смыслил в географии.

Сицилийские купцы, повстречавшиеся мне у подножья Везувия, поведали мне о той, кто лечила болезни прикосновением ладони.

Я спросил их, где же мне её найти.

Пытаясь скрыть своё смущение, мудрые сицилийские купцы советовали мне искать её в гареме багдадского халифа.

Я отправился дальше, лишь спросив их без всякой злости на прощание:

– За что вы её туда продали?

– Люди перестали болеть. Какой в этом прок? Здоровый человек обретает надежду, а надежда не может быть достоянием каждого, – беззастенчиво честно отвечали мне продавцы надежды.

Слуги багдадского халифа хотели повесить меня на городских воротах как паршивую неверную собаку, но халиф был милостив ко мне.

Одарив халатом и накормив, он усадил меня напротив себя и обратился в слух, желая узнать, какая причина привела меня на столь явную погибель.

Я рассказал ему, что иду за ней.

Лукаво улыбнувшись, халиф сказал мне:

– Я знал, что ты придёшь. Она много говорила мне о тебе.

– Ты отпустишь нас? – наивно вопрошал его я.

– Нет, – ласково отвечал мне халиф.

Я так же наивно спросил его – почему?

– Я не терплю, когда в моём дворце говорят о ком-то, кроме меня. Я подарил её моему шурина, нубийскому царю. И тебя я тоже ему подарю.

Халиф хлопнул холёными руками в ладоши, будто взмахнул двумя крылами. Бесшумно появившиеся стражники взяли меня под руки и отвели в темницу.

У нубийского царя я оказался спустя год.

Но это был уже не шурина халифа, а его сын. Старый царь скончался в военном походе за два месяца до моего прибытия от никому неизвестной болезни.

Новый царь милостиво отправил всех женщин старого царя следом за своим господином.

Её путь тоже пролёг туда.

– Что же мне делать с тобой? – на секунду задумался новый нубийский царь и в тот же день скормил меня львам...

* * *

– Эй, лучник! В честь коронации короля наш добрый герцог Кентский дарует вам бочку эля. Помогите!

Это кричит мне ключник герцога. Лучник – это я. Я – лучник его королевского величества английского короля Генриха II, коронация которого назначена на это воскресенье.

Я помогаю людям ключника вкатить бочку эля в повозку, запряжённую парой мулов, и заинтересованно смотрю на него. Король недавно прибыл из Франции, и я жду оттуда вестей.

Ключник наклоняется к моему уху.

– Королевский паж, мой кузен, говорил мне вчера, что слышал во Франции о некоей деве, которая в Лионе ткала ковры с узорами невероятной красоты, вплетая в их орнамент радугу.

С этими его словами я понял, что завтра на рассвете королевская рать лишится одного из своих лучших лучников.

...Лион бурлил страстями. В харчевнях города говорили: завтра на городской площади сожгут ведьму, которая ткала колдовские ковры, призывая в помощники для этого все силы тьмы. Знающие люди говорили, будто стоит только человеку лечь на такой, неземной красоты ковёр, и душа этого человека навсегда попадёт в лапы дьявола.

Я ничего не понимал в коврах и кознях тёмных сил, поэтому ночью, перебив охрану замковой темницы и выкрыв ключи от неё, я проник в замковое подземелье.

В самом дальнем углу я нашёл одинокую деву, которая от ужаса перед ожидавшими её впереди мучениями тихо сошла с ума.

Это была не она.

Дева улыбалась мне и протягивала засохший цветок маргаритки.

Я пытался спросить деву о той, которую искал, но она лишь тянула мне цветок и бессмысленно повторяла своим мелодичным голоском одно и то же, заглядывая полными доброты глазами в мои уставшие глаза:

– Ступая тихо, не разлить воды... Ступая тихо, не разлить воды...

Я ничего не понимал в иносказаниях, поэтому отпустил её с миром и пошёл своей дорогой.

Я услышал, как нищий старец у городских ворот вещал двум серым крысам:

– Обрекли на смерть невинную деву, дабы толпу потешить. А той, которая причиной смуты стала, давно уже и след на мостовой остыл.

Я кинул старику монету и отправился в ночь.

Ночной ветер указал мне путь на восток.

В Константинополе от странствующих бенедиктинских монахов услышал я о той, что успокаивала своим пением бурлящее море.

Я спросил их, где она.

– Отбыла с императорским посольством в киевские земли посмотреть на колыбель трёх братских народов.

Я поспешил следом.

– Ты не знаешь, о каких народах она говорила? – спросили мне вслед монахи.

Я ничего не понимал в народах и лишь пожал плечами.

В киевских землях царили междоусобные распри. Города пылали один за другим.

Там я услышал о той, что вошла в горящую избу и остановила коня на скаку.

– Где она? – спросил я у проходившего мимо пьяного беспорточного скомороха.

– На кукушкиной опушке у вонючего ручья, в покосившейся избушке лежит девушка ничья, – скороговоркой ответил мне скоморох, отхлебнул из жбана вонючей браги и похабно оскалился.

Второй опыт прикосновения к иносказаниям принёс свои плоды. Я понял, что путь мой лежит в ростовские земли.

В ростовских землях набирал силу молодой князь Юрий Владимирович.

Здесь никто не слышал о ней, но её дух незримо витал в этом воздухе, и я остался.

Княжеская суздальская дружина пополнилась новым ратником по прозвищу «немец Иоанн».

Вскоре судьба возвела князя Юрия на киевский престол, где он и окончил свои дни. Вместе с князем окончила свои дни и его суздальская дружина, живо перебитая киевлянами.

Умирая, я чувствовал, что она где-то рядом и тоже страдает, но так и не увидел её.

* * *

Китайским монахом я шёл за ней в тибетских горах, на далёких малайских островах и в казахских степях и окончил свои дни от руки монгольского всадника где-то под Бухарой.

Индийским воином я шел за ней от океана к океану, чтобы погибнуть от пули ирландского пионера...

Эскимосским китобоем я прошёл за ней все острова северного моря и сгинул в пучине вод, влекомый её голосом...

Я был солдатом конвента...

... лапландским оленеводом...

... турецким янычаром...

... рязанским лапотным мужиком...

Сколько раз я был близок к ней. Сколько раз я умирал, почти ощутив её прикосновение...

Ну вот, объявили мой рейс на Ванкувер. Жаль расставаться с таким приятным собеседником, но мне пора.

Она говорит, что мы знакомы с ней тысячу лет. Врёт, конечно. Женщины склонны преуменьшать всё, что касается их возраста.

Мы познакомились на триста лет раньше...

Ты придёшь ко мне умирать

*Чему вовсе не быть, так того не сгубить,
А чего не сгубить, тому нету конца на земле...
Э.Шклярский, «Египтянин»*

Закат в этот вечер был необычайно красив.

Огромный огненно-красный диск солнца медленно и торжественно двигался по пронзительно лазоревому, поражавшему своей необъятной глубиной небосводу, на котором не было видно ни единого даже самого маленького облачка. Крикливые чайки без усталости носились в небе, купаясь в теплых потоках прогретого за долгий день воздуха. Они то взмывали по одиночке вверх, то вдруг шумной стаей кидались вниз, то садились на воду и начинали о чем-то задумчиво скучать, то, шлепая по воде крыльями, снова с шумом поднимались в воздух. Раскаленное солнечное блюдо, докатив до горизонта, коснулось своим краем ровной зеленой глади моря, как бы попробовав воду на ощупь, а затем стало неторопливо погружаться в него, как гигантский пончик в огромную чашку с молоком, бросив при этом на воду яркую золотистую в переливах света дорожку. От этой дорожки мощными потоками широких волн во все стороны стала разливаться розовая теплота. Казалось, что, скрываясь в море, солнце само, медленно остывая, пытается найти в нем отдых и успокоение после удушливой жары раскаленного дня. Уютная и живописная крошечная морская бухта, украшенная по берегу ярко розовыми гранитными скалами, кое-где нечасто облепленными причудливо изогнутыми неустанной работой ветров вековыми соснами, начинала приходить в себя после нестерпимого дневного зноя южного лета. От солнечного света, отбрасываемого поверхностью моря на скалы в виде причудливых бликов, розовый цвет гранита делался таким сказочно волнующим, что не мог не вызывать душевного восторга.

Я поднялся на вершину самой высокой скалы и стал любоваться оттуда открывшейся мне внезапной красотой. Внизу, у подножья скалы сидели и сновали по своим суетным делам люди. Некоторые сидели почти без движения, лениво уставившись в одну точку. Кто-то читал, кто-то ел. Кто-то спал. Никто из них не замечал величественной красоты заката.

Открывшаяся мне на вершине скалы красота заполнила всего меня без остатка. Эта первозданная красота была единственным, что занимало меня в те минуты, единственным, в чем увидел я настоящую ценность. Все остальное сейчас не имело никакого значения. Это было действительно так, и от осознания этой, оказавшейся такой очевидной истины, открывавшей высшие ценности бытия и делавшей простым и понятным сложное устройство непонятного мира, я ощутил спокойствие и безмятежность, которых не знал никогда ранее.

Это было абсолютное счастье.

Ещё совсем недавно, буквально только что, все в моей жизни было совсем по-другому. Глубокое разочарование в жизни и отрешенность от окружающего мира были моими давними и привычными спутниками. И вот, десять секунд назад все изменилось...

Я был двадцатисемилетним неудачником – задерганным жизнью почти молодым человеком с бледным измученным лицом, с благополучно развалившимся два года назад скоротечным браком, заключенным с такой же задерганной жизнью депрессивной неудачницей, багажом нереализованных способностей и никому не нужным образованием за плечами. Я ни во что не верил и ничего не хотел. Мысли о смерти все чаще посещали меня.

Пять дней назад я приехал в этот маленький грязный городишко, который был настолько мал, что даже не помещался на географической карте и о существовании которого я совсем не подозревал. Об этом городке я узнал случайно от подвозившего меня водителя грузовика. В дороге я привычно пожаловался ему, что уже три недели путешествую по побережью и не нахожу для себя отдыха ни в одном из повстречавшихся мне на пути мест.

Везде, где бы я ни появлялся, меня сходу окутывала угнетающая отчаявшегося человека атмосфера царившей повсюду бойкой торговли, где одна часть людей что-то взволнованно продавала, а другая их часть так же взволнованно что-то покупала. Предметом торга могло быть все без исключения – комнаты для постоя отдыхающих, шезлонги, вино, вареная кукуруза, обед в приморском кафе, сверкающие фальшивым золотом и бриллиантами часы, кричащая о своем безвкуси аляповатая фотография, запечатлевшая ошалевшего от южной экзотики курортника в обнимку со слоном, доля в строительстве невероятно прибыльного торгового центра, который никогда не будет построен, любовь проститутки, фотокамера, украденная на соседней улице у зазевавшегося интуриста, или, наконец, благосклонность автоинспектора. Даже голуби на площадях и в скверах не хотели кормиться задаром, заставляя долго уговаривать себя и заманивать куском душистой сдобной булки. Повсюду царил праздник денег – кто-то радовался, что только что очень удачно что-то продал, а кто-то визжал от восторга при мысли о том, что минуту назад очень выгодно для себя потратил деньги.

Не находя себе места на этом празднике, сжав в кармане горстку замусоленных банкнот, я двинулся все дальше.

Так я и оказался в этом городишке. От шоссе к нему вела, петляя, узкая и пыльная грунтовая дорога. настолько узкая, что больше походила на широкую тропу. Ее нельзя было разглядеть проезжая по оживленному шоссе. У поворота на эту дорогу не было никаких дорожных указателей. Остановившись у обочины шоссе, водитель грузовика показал мне на просвет между запыленными кустами можжевельника. Это и была дорога, которая привела меня вскоре в этот грязный приморский городок. Пожелав мне удачи, водитель грузовика, улыбнувшись одними уголками губ, заверил меня на прощание, что в этом городишке я найду настоящий покой и

умиротворение, после чего его автомобиль, резко набрав ход, скрылся за поворотом.

Несмотря на извилистость, дорога стремительно уходила вниз. Пройдя пешком около часа, все время подвергая себя при этом опасности не удержаться на ногах и покатиться вниз по горной круче, я все же оказался в городке, название которого один только раз я услышал от водителя грузовика, но вскоре забыл (впрочем, я совсем не уверен, что он его вообще произносил). Единственный въезд в город не имел никакого указателя с его названием. На том месте, где раньше, должно быть, находился указатель, стоял покосившийся железный столб, выкрашенный когда-то очень давно белой краской. Поперек столба к нему была прикреплена ржавая металлическая прямоугольная рамка, которая, видимо, и держала до поры указатель. Возле столба была свалена большая куча мусора.

Я вошел в город вскоре после того, как миновал полдень. Пыльные и кривые улицы городка потихоньку обезлюдели. С хлопаньем закрывались облупленные ставни на окнах неказистых домиков с такими же облупленными стенами. Зазевавшиеся с делами люди торопились закончить их и убежать в прохладу тени. Город спешил укрыться от палящего солнца.

Постояв недолго у столба с отсутствующим указателем, я вытряхнул песок из старого прохудившегося ботинка и решительно зашагал по улочке, ведущей в гору. Идя по улице, я с интересом осматривал город. Первое впечатление об этом городке, которое пришло мне на ум после ощущения его неухоженности, заключалось в том, что, как мне показалось, в этом городишке остановилось время. Впоследствии это ощущение так и не покинуло меня.

Пройдя так два или три квартала, я наугад постучался в дверь одного из домиков. Стучать пришлось долго. Дверь открыла грязная старуха в засаленном переднике. Седые давно не чесанные волосы ее были включены и торчали во все стороны. Старуха сильно горбилась, во весь ее правый глаз расплылось бельмо. В общем, так должна была выглядеть сказочная баба Яга.

Ничего не спрашивая, старуха равнодушно уставилась на меня. Я сказал ей, что мне нужна комната на время. Вонзив в меня пристальный изучающий взгляд, старуха долго рассматривала мое лицо, а потом, так же молча, повернулась ко мне спиной и пошла внутрь дома, через который можно было попасть во двор.

– Дверь затвори на крючок. – Едва слышно долетело до меня.

Из этих ее слов я понял, что получил на свою просьбу положительный ответ.

Следуя за старухой, я прошел мимо большой беспородной рыжей собаки, дремавшей у своей конуры и даже не взглянувшей на меня. Собака была такой же старой, как и ее хозяйка. Пройдя далее через мощный выщербленным кирпичом, густо заросший сорной травой и порослью молодых деревьев двор, я оказался в очень маленьком и очень старом саманном флигеле, который больше походил на заброшенный сарай,

стоявшем в глубине двора. В этот момент я подумал, что отовсюду в этом доме веет старостью. В этом не было для меня никакой мистики. Банальная земная старость в разнообразных своих проявлениях. Перед дверью флигеля на узком высоком порожке грелась на солнце серая полосатая кошка с котятами. Старуха шикнула на нее – и кошка, увлекая за собой котят, быстро исчезла в густой траве.

Продравшись сквозь густую паутину, я остановился посередине обильно покрытого пылью флигеля. Он имел низкий потолок, который по центру пересекала перекрывающая деревянная балка, и два подслеповатых окошка. Одно из окошек выходило во двор, из второго вдалеке виднелось море. Электричества во флигеле не было. Его заменяла крепившаяся к балке керосиновая лампа. Всю обстановку флигеля составляли маленький, аккуратный, сколоченный из тщательно обструганных и покрытых лаком досок столик и старинная железная кровать с красивыми спинками, сделанными из причудливо витых металлических прутьев. Кровать покрывало пестрое лоскутное одеяло, на котором лежала большая пуховая подушка. На столе, укрытая, как и все вокруг толстым слоем пыли, лежала одинокая книга в потрепанном переплете, видимо забытая когда-то очень давно кем-то из постояльцев.

– Можно курить. Посторонних нельзя. Керосин долго жечь нельзя. – Произнесла старуха и повернула в дом, не спросив с меня оплату.

Оставшись один, я снял с плеча рюкзак, бросил его в угол и, не снимая ботинок, плюхнулся спиной на пыльную кровать. Я долго лежал так, неподвижно, уставившись в паутину на потолке. Спать не хотелось. Думать тоже. Я наслаждался покоем.

Я пролежал так очень долго, не следя за временем. Когда солнце стало опускаться к горизонту, я впервые пошевелился. Повернув голову вправо, к столику, я наткнулся взглядом на книгу. Я взял ее в руки и, сев поудобнее на кровати, открыл на первой попавшейся странице.

В книге я увидел знакомые буквы, складывавшиеся в знакомые слова, но не мог прочитать ни одного из них. В недоумении я перелистнул страницу. Все повторилось. С досадой на себя я стал листать страницы одну за другой, но везде было одно и то же. Чертыхнувшись, я раздраженно бросил книгу на стол. Она шумно упала на него, подняв вокруг густые клубы пыли. Когда пыль осела, мое внимание привлекла обложка книги. На ней был изображен морской закат. Настолько красивый, что я мог поспорить с кем угодно, что такого заката не бывает в природе. Я долго не мог оторвать взгляда от картинки, но потом решительно перевернул книгу тыльной стороной обложки вверх и пошел в город.

Несмотря на мучавший меня голод, я шел по городу, внимательно разглядывая его улицы. Все мне здесь казалось необычным. Хотя, спроси меня об этом сейчас, я не смог бы, наверное, точно ответить, в чем я видел необычность. Очень старый, очень грязный городок, наверное, не единственный такой на свете. Я не смог бы точно определить его необычность... не смог бы... как ни пытайся. Но я готов был поклясться,

движимый сидевшей во мне какой-то странной иступленной уверенностью, что в такой город нельзя придти специально. В такой город тебя что-то ведет. Что? Этот вопрос пока меня не беспокоил.

Очень хотелось есть. Я был настолько голоден, что меня совсем не беспокоил мой внешний вид: невымытое лицо и руки, давно нечесанные и нестриженные волосы, наскоро приглаженные пятерней. На ногах стоптанные ботинки, давно и окончательно потерявшие свой цвет. Наполовину истлевшие черные джинсы и короткая грязная куртка «милитари», одетая прямо на голое тело, заканчивали мой гардероб. В довершение всего, я, как заваливавшаяся на складе вещь, с ног до головы был покрыт пылью.

Странно, но на мою внешность никто не обращал ровным счетом никакого внимания. Наугад я определил место нахождения центральной улицы, спускавшейся от самого верха небольшой горы, на которой был расположен город, почти до берега моря, и двинулся туда. Улица была достаточно широкой, чтобы уместить на ней одновременно проезжую часть для автомобилей, ни одного из которых, впрочем, я здесь еще не видел, и широкие тротуары со столиками летних кафе на них. Я подошел к столикам одного из здешних кафе и остановился в нерешительности чуть поодаль, ощупывая в кармане деньги.

Сзади меня раздался насмешливый девичий голос.

– Голодный? Конечно, голодный. Как волк! Ладно, сегодня я тебя угощу, а завтра тебе придется научиться самому добывать пропитание. Я помогу.

Я обернулся. Передо мной стояла невысокая ладно скроенная девушка, которой на вид было чуть больше двадцати лет. Она была одета в облегающую ее хорошенькую фигурку ядовито зеленого цвета майку и джинсы, цвет которых, видимо, не смогли определить даже при их изготовлении. Через плечо девушки был перекинут широкий ремень вместительной матерчатой сумки, болтавшейся у нее на поясе. На ногах ее совсем не по погоде красовались новые высокие армейские ботинки. Ее коротко стриженные включенные волосы были выкрашены в грязно рыжий цвет, отчего ее лицо казалось немного конопатым. Маленькая головка чуть склонена набок. Цепкие глазки-пуговицы с интересом бегали по моему лицу и одежде. У нее были высокий лоб, красиво изогнутые черные брови и аккуратный слегка вздернутый носик. Сжатые тонкие губы говорили о ее природном упрямстве. Маленький треугольный подбородок, чуть выдвинутый вперед, делал ее похожей на лисенка. В общем, она была вполне ничего.

Не раздумывая, я согласился на ее предложение, и мы уселись за один из столиков. Мы ели довольно сносно приготовленное блюдо с неизвестным мне ранее названием, состоящее из тушеных в горшочке баклажанов с мясом и чего-то еще, запивали его дешевым красным вином и разговаривали. Точнее будет сказать, больше говорила моя новая знакомая, а я внимательно слушал, поглощая свой ужин.

Она говорила, что приехала в этот городишко два года назад отдохнуть от шума и суеты большого города и залечить душевные раны. Раньше она жила в большом городе, училась в театральном училище, а еще пела, имея небольшую сольную программу. Ей делались многочисленные творческие предложения от самых известных людей шоу-бизнеса, за право обладать ею было пролито немало мужской крови, ее руки настойчиво просили влиятельнейшие люди, но она решила бросить все и уехала, куда глаза глядят. Еще немного она отдохнет, поправит здоровье и вернется в прежнюю жизнь.

Она рассказывала красиво и вдохновенно. Я ей не верил, но мне было все равно. Мне было хорошо с ней, и я продолжал слушать.

Мы просидели в кафе очень долго. Когда над городком окончательно сгустилась ночь и улицы обезлюдели, а хозяин заведения сказал нам, что он закрывается, мы спустились к морю. Моя подруга сказала, что море таит в себе огромную таинственную силу, которая ее постоянно притягивает. Бросив свою сумку на камни, не снимая одежды, она вошла в воду и поплыла. Я последовал за ней. Мы долго наслаждались прогретой солнцем за день водой. Две желтых луны: большая – на небе и чуть поменьше – в воде, светили нам. Вволю наплававшись, мы вышли на берег, сняли с себя мокрую одежду и разложили ее на камнях. В свете луны стройная фигурка моей подруги показалась мне еще привлекательнее, чем при свете дня, и я сказал ей об этом. Мы приблизились друг к другу – и, казалось, давно забытая нами обоими сила трепетной и нежной юной страсти увлекла нас на землю...

Остаток ночи мы провели молча лежа на спине и глядя на звезды.

С восходом солнца мы оделись, и я, ощутив вдруг чувство сильного голода, еще сильнее, чем прежде, сказал моей подруге, что пора ей выполнить вчерашнее обещание и научить меня добывать себе пропитание.

– Еще рано, – сообщила мне она, – для начала, давай поскребем по карманам.

Она выгребла на свет из карманов своих джинсов горсть монет. Я достал из своего кармана три замусоленные банкноты мелкого достоинства.

– О! Да мы сказочно богаты! – воскликнула она.

Мы поднялись в город и на оставшиеся деньги отлично позавтракали в одном из многочисленных кафе, съев целую дюжину свежесдобитых булочек с маслом и выпив по три чашки ароматного кофе.

За завтраком моя подруга объяснила мне, в чем состоит нехитрая суть добывания денег на пропитание. Здешний базар, как и все южные рынки, рано пробуждается и до обеда ведет бойкую торговлю, которая приносит торговцам хороший доход. На рынке для такого человека, как я или моя подруга, всегда найдется какая-нибудь черновая работа. Однако, за нее совсем не следует браться с утра – утром торговец прижимист и особенно не церемонится с подсобной братией. В это время он сосредоточен на торговле так, словно собирается побить мировой рекорд по снятию выручки. К закрытию же рынка – другое дело. В хороший день к завершению торга торговец щедр, ласков и разговорчив, словно родной отец (или мать, если это

будет торговка). Спеша поскорее покинуть рынок и укрыться с барышом в прохладную тень домашней беседки, густо увитой лозой виноградника, торговец, как правило, весьма щедро платит за любую помощь в приведении в порядок его торгового места, упаковке и перетаскивании всевозможных ящиков, корзин, коробок и бутылей. Иногда сверх положенной платы тебе может перепасть и пустившая на жару легкий душок, но вполне еще съедобная большая рыбина с непроизносимым названием или дюжина-другая слегка помятых помидор. В общем, такого заработка на жизнь вполне хватает.

До закрытия рынка еще оставалось некоторое время, и мы с подругой отправились в маленький скверик, расположенный неподалеку. Мы уселись под раскидистым кленом, подруга достала из сумки книгу и погрузилась в чтение.

Увидев потрепанную обложку этой книги, я невольно вздрогнул.

– Откуда у тебя эта книга?

– Она всегда со мной.

Я посмотрел на ее раскрытые страницы. Все те же знакомые буквы. Слова, которые я не мог прочесть. Все то же. Не знаю, откуда во мне возникла такая уверенность, но я готов был поклясться, что эти буквы складывались в иные слова, совсем не те, что я видел в обнаруженной мной во флигеле книге. Неясная тревога охватила меня. От сильного волнения закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Не зная, как справиться с усиливающимся волнением, я вскочил на ноги и побежал прочь. Меня никто не окликнул.

Я долго слонялся в одиночестве по грязным улицам городка, пока не понял, что стою перед дверью дома старухи.

В дверь пришлось стучать так же долго, как и вчера. Снова, открыв дверь, старуха не произнесла ни слова. Коротко, но пристально взглянув на меня, она повернулась и пошла в дом, на ходу уже привычно для меня проскрипев, чтобы я закрючил дверь.

Войдя во флигель, я с неосознаваемым страхом приблизился к лежащей на столе книге. Осторожно я взял ее в руки. Закат на обложке все так же притягивал взгляд и завораживал. Немалым усилием воли я заставил себя открыть книгу. Все то же. В ней ничего не изменилось. Я не мог прочитать ни единого слова. Но откуда же во мне сидела твердая уверенность в том, что бессмысленная вереница слов в этой книге не была похожа на вереницу слов в книге моей подруги? Непонимание этого беспокоило меня еще больше, чем невозможность прочесть в них ни единого слова. С бессильной злобой я швырнул книгу под кровать. Пролетев совсем немного, она мягко ударилась обо что-то и упала на пол. Я заглянул под кровать. Под ней лежал старый пыльный брезентовый рюкзак, а рядом с ним укором распахнула страницы брошенная мной книга. Достав рюкзак, я высыпал его содержимое на пол, испытывая при этом странное чувство неловкости, словно делал что-то гадкое и предосудительное. В нем не оказалось ничего интересного – привычный набор грязного тряпья бродяги,

почти такого же, как и в моем рюкзаке. Собрав вещи, я засунул их в рюкзак и вернул его на место.

Сев на полу посреди флигеля, я ощутил себя разбитым и глубоко больным человеком. Кровь в моих висках бешено пульсировала и стучала, словно отбойный молоток, гулко отдавая в уши, лоб и щеки полыхали жаром, дышать становилось все труднее, в мышцах наступила такая слабость, что я не смог бы пройти и десяти шагов. С трудом дотянувшись до кровати, я с немалым усилием вскарабкался на нее и провалился в глубокий сон.

Хочется сказать, что в ту ночь мне снились яркие сны и приходили удивительные видения, но это было бы неправдой. В ту ночь мне не приснилось ничего.

Проснулся я на следующий день поздним утром. Солнце уже стояло высоко. Есть не хотелось. Хорошо выспавшись, я, тем не менее, еще долго лежал в кровати, а затем решительно встал с нее с твердой мыслью раз и навсегда покончить со всей этой дьявольщиной, окружавшей мой приезд сюда.

Выйдя во двор, я набрал в колодце ведро студеной воды и вылил его на себя. Это окончательно взбодрило меня, и я отправился на поиски своей новообретённой подруги.

Отыскать ее не составило труда. Она сидела в скверике под деревом и читала свою книгу. Увидев меня, она не потеряла своего привычного спокойствия, только произнесла:

– Ты пропустил вчера закрытие рынка... Сегодня, впрочем, тоже. Это невежливо по отношению ко мне с твоей стороны.

– К черту твою вежливость! Что это за книга?

– Это Книга моей жизни.

– Я держал в руках точно такую же книгу и не смог в ней прочитать ни слова.

– Значит, эта книга уже прожита кем-то другим.

– Ерунда. Если книгу может прочитать кто-то один, то это должно быть доступно и другому. Любую книгу можно прочесть множество раз.

– Я не сказала, что эта книга была кем-то прочитана – я сказала, что она была прожита кем-то.

– Проживают жизни, а не книги! Я пробовал прочесть хоть слово и в твоей книге, но тоже не смог. Если бы я верил в ведьм, то сказал бы, что ты – ведьма и что весь этот поганый городишко населен одними ведьмами. Прочти мне что-нибудь из твоей книги! Я хочу знать, что в ней такого необычного. – Сказал я с вызовом.

Она с грустной жалостью посмотрела мне в глаза и произнесла:

– Её нельзя читать вслух. Это невозможно.

– К чёрту! – Извергал я эмоции.

Моя подруга никак на это не реагировала.

– И когда же ты закончишь ее читать? – Спросил я с едким сарказмом.

– Видимо, когда настанет время умирать.

– Где же, в таком случае, моя книга? Я тоже люблю почитать на досуге! Где она, где?! – Почти безумно кричал я.

Она ничего не ответила на мой вопрос. Только еще пристальнее и с еще большей грустью посмотрела в мои глаза.

– Ты, наверное, голоден. Пойдем, я покормлю тебя.

Она взяла меня снизу за руку, и в этот момент я остро ощутил себя самым одиноким и самым отчаявшимся человеком на свете, не осознавая еще причину своего отчаяния. Неожиданно для себя, я горько заплакал. Опустившись на колени, я уткнулся лицом в ее грудь и, продолжая лить слезы, твердил: «Я ничего не понимаю... Я не понимаю, что со мной происходит... Что происходит вокруг?... Зачем?». Она осторожно, чтобы не потревожить, обхватила мою голову руками и тихонько гладила пальцами мои волосы.

Через несколько минут я успокоился, и мы, больше не касаясь этой темы в разговоре, пошли обедать в кафе. Мне было неловко, и я молчал. Она ничего не говорила мне, будто все понимала.

Пообедав, мы пошли к морю и остаток дня провели глядя на него. Мне казалось, что мы не просто смотрели на него, а совместными усилиями пытались заглянуть за горизонт и открыть все его тайны. Я не стал говорить об этом моей подруге, но почти не сомневался в тот момент, что мы и без слов понимаем друг друга, мысленно делая одно и то же.

С наступлением сумерек мы, взявшись за руки, долго гуляли вдоль берега моря. Потом мы ужинали в маленьком приморском кафе жареной камбалой, которую я всегда не любил, но в этот вечер счел ее самой вкусной рыбой на свете. За ужином мы непринужденно болтали о пустяках и смеялись. Где-то на окраине города, в том месте, где располагалась дорога, ведущая в город, раздались раскаты грома, полыхнула молния и пролился короткий шквальный ливень. Меня это нисколько не расстроило, тем более что гроза бушевала в стороне от нас, не доставляя нам беспокойства. Только моя подруга бросила в ту сторону немного странный взгляд, но тут же вернулась к нашей беседе.

Подруга не разрешила проводить ее домой, и у кафе мы расстались. Не желая тревожить свою хозяйку ночью, я пробрался к дому старухи с тыльной стороны, где старый сложенный из известняка забор возвышался над широким и глубоким оврагом, и перелез через него. Старая хозяйкина собака никак не обнаружила своего присутствия, и я благополучно добрался до своей кровати. Еще долго я не мог заснуть, размышляя над тем, что со мной произошло за последнее время, пытаюсь сопоставить малопонятные мне обрывки фактов, событий и ощущений. Я не знал, что все это принесет мне, не знал, какое это значение будет иметь в моем будущем, но я был уверен, что это должно было со мной произойти, и поэтому с должной степенью спокойствия воспринял все случившееся как неизбежное.

Наутро я проснулся в достаточно бодром расположении духа, а потому, не став долго валяться в постели, я наскоро умылся колодезной водой и пошел на поиски своей подруги, решив весь день посвятить отдыху.

Я нашел ее, как обычно, в сквере под деревом за чтением. При виде ее книги мое бесшабашное настроение начало быстро исчезать. Медленно растущая, непонятная мне тревога снова охватила меня, но я решительно отогнал ее прочь и весело поздоровался с подругой. Она прервала чтение, взглянула на меня и мило улыбнулась.

– Привет. Как дела? Чем займемся сегодня? – Как можно бодрее спросил я. – Сегодня я, в общем, не прочь заработать несколько монет. Научишь?

Она кивнула, улыбнувшись, и убрала книгу в сумку.

Некоторое время мы сидели под деревом и разговаривали о пустяках. Потом моя подруга посмотрела на солнце и сказала: «Пора!», после чего мы направились в сторону рынка.

Стоял полдень, и торговля на рынке, который, кажется самым невероятным образом, вынырнул из столетнего прошлого (впрочем, как и весь городок), близилась к завершению. Опытным взглядом подруга окинула торговые ряды и потащила меня к толстому и усатому греку, торговавшему арбузами. Быстро сговорившись о цене, моя подруга сноровисто принялась наводить порядок на месте, где заканчивал торговлю грек. Я последовал ее примеру. Потом мы загрузили остатки товара с пустыми мешками и парой каких-то ящичков на повозку, стоявшую чуть поодаль, и отволокли ее к дому, указанному греком. Видимо, день для него был весьма удачен, поэтому, когда мы вкатили повозку во двор его дома, грек, отслонявив жирными пальцами от увесистой пачки денег, выуженной из бездонного кармана огромных засаленных шаровар, оговоренную ранее сумму, чуть поколебавшись, прибавил к нашему заработку еще одну бумажку, а потом разрешил нам взять с повозки любой понравившийся арбуз.

Засунув выбранный мной крутобокий арбуз во внушительных размеров сетку, обнаруженную в недрах сумки моей запасливой подруги, я перекинул сетку с арбузом через плечо и, довольный собой, неторопливо вышел со двора грека. Однако, подруга, схватив меня за руку, тут же потащила меня обратно к рынку. Я сказал ей, было, что мы заработали достаточно денег и можем теперь честно отдыхать, ни о чем не думая. Остановившись на быстром ходу, она резко повернулась, скептически оглядела меня с ног до головы и, не произнеся ни слова, еле заметно улыбнулась одними губами, после чего снова потащила меня к рынку.

Рынок почти обезлюдел. Несколько, видимо, не очень удачливых торговцев угрюмо возились со своим товаром, сворачивая торговлю. С предложением помощи мы пристали к маленькому сухому неразговорчивому старику, торговавшему персиками. Нехотя тот согласился принять нашу помощь и долго торговался о цене. Договорившись с ним, мы с подругой принялись грузить на его вместительную повозку многочисленные ящики с нераспроданными персиками. Погрузив товар, мы поволокли повозку следом за угрюмым стариком. Дойдя до его дома, располагавшегося где-то почти на самой вершине горы, мы вкатили повозку во двор. Старик аккуратно отсчитал нам несколько мелких бумажек, дважды внимательно пересчитал

наше жалкое вознаграждение, после чего отдал его нам и, махнув рукой в сторону калитки, тем самым показав, что разговор окончен, пошёл в дом.

Мы вкусно пообедали в одной из самых приличных забегаловок городка. За обедом подруга сказала мне, что опрометчиво с моей стороны было бросать работу на половине в такой удачный день. Старик с персиками, хоть и не сделал существенной прибавки к нашему заработку, но в иной день и такая сумма бывает роскошью.

Я не стал спорить с ней. Мне было все равно.

Весь остаток дня мы провели беззаботно гуляя по окрестностям городка. Вечером мы забрели в какую-то старую харчевню, где старик-хозяин накормил нас удивительно вкусным супом из каракатицы. После ужина, с наступлением темноты мы отправились к морю...

Далеко за полночь я, стараясь не производить шума, находясь в приподнятом настроении, уже известным мне способом пробрался в свой флигель, где повалился на кровать и тут же погрузился в глубокий сон.

Когда я проснулся, солнце было уже точно на западе – я проспал большую часть дня.

Не умываясь и не желая беспокоить свою хозяйку, я перемахнул через забор, выбрался задами на улицу и пошел искать свою подругу. Несмотря на некоторые странности в ее поведении и смутное предчувствие того, что наше знакомство скоро станет для меня роковым, я уже успел привязаться к ней и скучал по своей странной знакомой.

Ее не было ни в сквере, ни в одном из известных мне кафе, ни на давно закончившем торговлю базаре. Постояв пару секунд в нерешительности, я отправился на берег бухты.

Она сидела на камне, читая книгу. Увидев меня, она, как обычно, спокойно, со сдержанной улыбкой поздоровалась, только лицо ее сегодня было несколько грустным. Отложив книгу в сторону, она подвинулась на камне, уступая мне место. Я сел рядом, и мы молча стали смотреть на море.

– Знаешь, мне все время кажется, что ты знаешь все про меня и про мою жизнь, только молчишь об этом. Ты никогда не спрашиваешь обо мне, как будто тебе все давно известно. Этот городишко хранит какую-то тайну, которую ты знаешь... я чувствую это... Почему в эту бухту не заходят корабли? – Спросил я подругу, сделав неожиданное для себя наблюдение.

– Так, наверное, издавна повелось. Видимо, им незачем сюда заходить. – Неопределенно пожав плечами ответила она.

– Опять какая-то дьявольщина! Опять ты говоришь загадками. – Начал заводиться я. – Если есть удобная бухта, на берегу которой живут люди, в нее обязательно должны заходить корабли! Здесь все окутано какими-то тайнами! Ты знаешь что-то об этом, но не желаешь мне говорить. Я хочу знать! Клянусь, я не успокоюсь, пока не переверну весь этот поганый городишко вверх дном и не докопаюсь до правды. В твоей власти избавить меня от этой ненужной работы. Начнем с твоей книги. Зачем она?

– Я тебе уже говорила – это Книга моей жизни.

– Почему другие не читают такие книги, а только ты? Чем ты особенна?

– Ничем. Читают все... почти все, – чуть запнулась она, – читают те, кому это начертано.

– Что за чепуха?! Кем начертано? Для чего начертано? Какой в этом смысл? Почему тогда не начертано мне? Чем тогда я отличаюсь от тебя и от таких, как ты? Где же, наконец, моя книга?

Долгим и пристальным взглядом она посмотрела в мои глаза, после чего тихо, но отчетливо произнесла:

– Твоя книга не была написана.

– Что это значит?

– Ты мёртв с рождения.

– Что?! – захлебнулся я воздухом.

– В этот город не приходят сами, в него приводит судьба. Ты живешь чужой жизнью, которую уже кто-то прожил до тебя. – Сказала она, обращая ко мне. – Ты думаешь, что ты жив, но на самом деле ты мёртв. Это город, в который приходят закончить свой путь.

– Что за чёрт! Если я мёртв и пришёл туда, куда должен был прийти, то что же здесь делаешь ты и такие «книжные», как ты?

– Каждого сюда приводит своя судьба. Такие «книжные», как я, – она горько усмехнулась, – приходят сюда в тот момент, когда совершают в своей жизни какую-то великую ошибку, причиняющую много страданий им и другим людям и заводящую их собственную жизнь в опасный тупик. Каждый из нас совершил что-то, что привело его сюда. У каждого из нас есть своя тайна. Каждый из нас читает свою Книгу жизни, доступную исключительно ему, только я делаю это открыто, а другие стыдятся признаться в этом, читая Книгу вдалеке от посторонних глаз. Если вдуматься, то это, наверное, смешно. Ведь весь этот город состоит из тех, кто мертв, и тех, кто умрет. Каждый из нас надеется найти в своей Книге ответы, на неразрешенные вопросы, которые привели их сюда. Если смотреть на это с твоей точки зрения, то я немногим отличаюсь от тебя. Мое главное отличие от тебя заключается, наверное, в том, что, найдя в своей Книге ответы, которые позволят мне вернуться к прежней жизни, я смогу покинуть этот город. Тебе же этого не дано.

– И что, многим удалось найти? – Ехидно спросил я.

– За последние сто лет никому.

Страшная догадка наполнила меня ужасом.

– Ты хочешь сказать, что провела здесь сто лет?... Тогда это должно означать лишь то, что, когда ты попадаешь сюда, время для тебя останавливается. Так?

– Ты прав. Время в этом городе ничего не стоит, так же как и жизнь. Ты в этом мог убедиться, увидев как достаточно легко здесь найти средства к существованию. Даже старик с персиками, ты помнишь его, был угрюм и несговорчив вовсе не оттого, что его торговля шла неудачно. Причина его печали кроется в другом – совсем недавно, не далее, как позавчера, он

полагал, что нашел для себя в Книге жизни ответы на все вопросы, мучавшие его долгие годы, и вознамерился выбраться из города. Как оказалось, он заблуждался.

– Ха! Ты что же знаешь все обо всех?! – Истерично смеясь, крикнул я.
– Может быть в этой дрянной книжонке ты прочитала и обо мне?

– Прочитала... – спокойно ответила она, – я знала о твоём появлении здесь и о нашей встрече с тобой. Твоя старуха тоже знала.

– Откуда ты знаешь про старуху? Я ничего тебе об этом не говорил!

– У тебя еще будет, сколько пожелаешь, времени, чтобы убедиться в том, что все в моих словах правда.

– Конечно! У меня еще будет достаточно времени, чтобы убедиться в том, что я не сошел с ума! Мне только надо покончить со всем этим наваждением и немедленно выбраться отсюда. Прощай!

С этими словами я победно захохотал и, решительно повернувшись, побежал прочь от нее.

Добежав до дома старухи, я стал колотить кулаками в дверь. «Немедленно забрать вещи и, не оглядываясь, бежать из этого проклятого места», – стучало в моих висках. Старуха не появлялась. Тогда я обежал дом вокруг, собираясь попасть во флигель уже известным мне путем. Как только я оказался на вершине забора, снизу к нему с рычанием и лаем, оскалив зубы, кинулся старый хозяйкин пес. Я пытался успокоить его, дав возможность собаке узнать постояльца, но пес не унимался.

– Ну и черт с вами! Провалитесь вы все сквозь землю с вашими книгами, с вашим сумасшедшим бредом и с моими вещами!

Спрыгнув обратно на землю, я что есть мочи побежал к единственной дороге, ведущей из города, как об этом думал я. Но очень скоро мне, к своему ужасу, пришлось убедиться в том, что это была дорога, ведущая только в город, и по которой невозможно было выбраться из него. Едва ли я удалился от старухино дома на тридцать шагов, как над моей головой раздался оглушительный грохот и где-то совсем рядом ослепительно полыхнула молния. В ту же минуту с неба на меня обрушился невиданный мной ранее мощный поток воды. Спотыкаясь и почти ничего не различая за стеной изливавшейся с неба воды, я добежал до столба с отсутствующим указателем и ринулся от него вверх по дороге. После первых же шагов я, утопая в потоках грязи, не в силах удержаться на скользкой, размытой ливнем грунтовой поверхности дороги, упал и, подгоняемый стремительным мутным потоком, кувыркаясь и переворачиваясь, скатился вниз. Снова и снова я вставал и безуспешно пытался сделать по этой дороге хотя бы десяток шагов вверх. Каждый раз я падал на землю, кубарем скатывался вниз и плюхался лицом в огромную грязную лужу, мгновенно образовавшуюся возле столба из воды, земной жижи и сваленного там мусора. С безумным упрямством я цеплялся за торчащие кое-где из земли корни деревьев, росших вдоль дороги, и пытался ползти по ним вверх, но силы быстро оставляли меня, и я снова скатывался вниз.

Не знаю, как долго это продолжалось, так как я потерял ощущение времени и ненадолго почувствовал себя частицей этого проклятого города. В изнеможении я выбрался на четвереньках из лужи и упал на спину рядом с ней, не в силах даже заплакать. Дождь, не переставая, хлестал меня по лицу, как бы в назидание за то, что я посмел ослушаться негласного запрета.

Когда дождь прекратился, я еще некоторое время продолжал лежать на земле, медленно приходя в себя, затем поднялся и обреченно побрел к тому месту, в котором я оставил мою подругу. Яркое солнце, согревая меня, клонилось к закату.

Когда я вернулся, на лице подруги не пробежало даже маленькой тени удивления. Она все так же сидела на камне лицом к морю с открытой книгой на коленях. Вечерело. Из города на берег, все чаще по одиночке, неторопливо спускались люди. Никто из них не обращал на меня никакого внимания.

Отрешенно и устало я опустился на камень рядом с подругой.

– За что здесь оказалась ты?

– Я убила свою мать и двоих сестер.

– ...???

– Это не было убийством в привычном понимании, иначе все было бы слишком просто. Меня бы по обыкновению повесили или сослали на каторгу, где бы я в конце концов благополучно умерла и мне не пришлось бы столько лет терзаться в поисках своего смысла жизни и своих ответов на неразрешимые вопросы.

– Что же это тогда было?

– Я была родом из очень бедной семьи. Нас было у матери трое (отец умер от туберкулеза, когда мне было шесть лет), я была старшей из дочерей. Матери с невероятным трудом удалось дать мне приличное образование и выдать замуж за большого чиновника (я ведь недурна собой, правда?)... После замужества все в моей жизни изменилось... деньги, наряды, внимание мужчин, подарки, поездки к морю и многое другое... От успеха у меня закружилась голова. Я забыла свою мать и своих сестер... Они очень нуждались и молили меня о помощи, но я, погруженная в бесконечную череду удовольствий, их не слышала... Они замерзли на улице в одну из лютых петербургских зим, не имея средств на пропитание и возможности оплачивать квартиру... Я даже не знаю, где они похоронены.

– Постой! Это очень похоже на дешевый спектакль! Мне сдается, ты водишь меня за нос. Я читал что-то такое... кажется, у Чехова.

– Верно, у него. Ты что же, его в фантасты зачислил? Откуда настоящие писатели берут свои сюжеты? Из жизни. Это может показаться тебе невероятным, но все, описанное Чеховым в его многочисленных рассказах, в той или иной степени действительно происходило с ним или было ему поведено кем-нибудь из его знакомых.

Ничего не говоря, я уставился на нее с вопросом.

– Мы встречались с ним однажды в Ялте, на отдыхе. Там я и рассказала ему свою историю.

Я долго молчал, не в силах осмыслить происходящее со мной и произнести хотя бы слово.

– Скажи, если ты и такие, как ты, продолжают искать здесь смысл своей жизни, то что здесь делают такие, как я... «мертвецы»? Почему они еще... как бы это сказать... не умерли совсем?

– Каждый вправе решать сам, когда ему принять смерть.

– И многие из «мертвецов» на твоём веку добровольно приняли смерть?

– Никто.

– Ради чего они копят небо? Чем для них эта «жизнь» лучше смерти?

– Спросил я ее после долгой паузы.

– Каждый вправе решать сам, когда ему принять смерть. – Философски повторила она. – Ты можешь сделать это, когда захочешь... Здесь достаточно только захотеть этого.

Потеряв всякую возможность нормально рассуждать, опустошенный, я подавленно сидел на камне, уставив взгляд в никуда. Я не видел этого, но чувствовал, что моя подруга смотрит на меня глазами, полными печали и сожаления. О чем она сожалела?..

Солнце все ближе клонилось к горизонту.

– Все мертвы, но никто никогда не умирает... Достаточно только захотеть, но никто не хочет... – Задумчиво произнёс я.

– Умирают... иногда... может деревом в грозу привалить или в шторм море забрать.

– Скажи, ты знала того парня, который жил у старухи до меня? – Спросил я, цепляясь за последнюю возможность обрести смысл в происходящем.

Она молча кивнула и тихо добавила:

– Здесь все про всех знают.

– Каким он был?

– Он был очень похож на тебя. Такой же одинокий и несчастный. Мне было хорошо с ним... как с тобой...

– В его книге много пустых страниц. Что с ним стало?

– Он был единственным, пришедшим в этот город, кто смог самостоятельно сделать свой выбор между жизнью и смертью.

– Давно это случилось?

– Прошло двадцать семь лет.

– Если я захочу, я буду здесь «жить» вечно, так же, как ты, так же, как все эти «люди»? – Я выделил слова «жить» и «люди» саркастическим оттенком.

– Да. – Спокойно ответила она.

– Каждый вправе решать сам, когда ему принять смерть! – С изрядной долей здоровой злости произнес я, уставив победный взгляд на подругу.

Она все поняла и ничего мне не сказала.

– Ты можешь сделать это, когда захочешь! – Запоздалым эхом повторил я ее слова.

Бросив недолгий, но пристальный взгляд на море, я оглядел окружающих нас людей, каждый из которых был занят собой и как будто не видел ничего вокруг. Обернувшись, я поднял голову и с вызовом посмотрел на город-тюрьму, показавшийся мне в этот раз огромным старым коршуном, нависшим над птичником. Потом, как будто освободившись от тяжелых, сдавливавших все мое тело пут, я легко и весело обернулся, лег на камни рядом с моей подругой и, с блаженной улыбкой на лице, закрыл глаза.

Здесь, на вершине самой высокой скалы, где я, наполнившись удивительной легкостью, оказался через считанные мгновения после этого, я ощутил себя самым великим и самым счастливым человеком на свете. Небывалой красоты закат открылся мне, заполонив меня всего без остатка. Кто сказал, что я мертв? Я самый живой из всей этой оравы человекоподобных существ, сгрудившейся на берегу, тихого стада, которое не замечало ни великолепия происходившего заката, ни величия моей смерти. Без сожаления я смотрел вниз, на землю, которой мне уже никогда не коснуться, на без дела снующих, жующих, спящих, читающих людей, на мою сидевшую ссутулившись и неподвижно глядя перед собой подругу, сделавшуюся от этого сразу как-то меньше и незначительнее, на лежащее рядом с ней, ставшее мне таким чужим и ненужным неподвижное тело.

Ещё только что я был несчастнейшим из людей на земле, пусть и живущим чьей-то уже прожитой жизнью, как уверяли меня в этом. Но у меня было право выбора, который я сделал! У меня было право выбора, доступного только Человеку!

Я был несчастнейшим из людей на земле. Все в моей жизни изменилось десять секунд назад.

Десять секунд назад я умер.

... Тех, которые жили рядом

Пешком по февральской позёмке, закутав голову в давно выцветшие платки, пряча обветренное лицо за отворотом выдавшей виды плюшевой тужурки, с полуторагодовалым сыном и узелком нехитрой еды на руках, она вышла из дома с рассветом и отправилась в дорогу. Путь предстоял неблизкий, за много километров от родной деревни, затерявшейся на краю неохватных брянских лесов, в город Рославль, что на соседней Смоленщине.

Восемь дней назад к ней в дом пришли полицаи из местной полицейской управы и увели ее мужа, подталкивая его в спину дулами немецких винтовок. Они так и не успели толком проститься. Растерянно металась она по избе и не знала, как ей быть и что делать. Она то хватала на руки младшего полуторагодовалого Семёна, то кидалась собрать мужу какие-то вещи, то просто садилась на лавку, опустив руки и растерянно глядя на мужа.

– Ничего, Лида, всё будет хорошо. Береги детей. – Успокоил ее муж и вышел на улицу, сопровождаемый полицаями.

Он шел, а она, выбежав раздетой на крыльцо, тихо завывая, смотрела ему вслед. Слезы пеленой застилали глаза, рыдания душили ее изнутри и не давали собраться с мыслями. Все еще не веря до конца в реальность происходящего, она ждала, что вот сейчас полицаи выйдут с ее двора, повернут вдоль забора и пойдут дальше своей дорогой, а муж, постояв у калитки, повернёт обратно к дому. Не отрываясь, провожала она мужа взглядом, безотчётно пыталась запомнить его и сохранить в своей памяти таким, каким он встретил пришедшую в их дом беду и каким эта беда увела его из дома. Невысокий ростом, он шёл к полицейской подводе, держась неестественно прямо, отчего казался выше. Она чувствовала его глубокое и ровное дыхание. Подняв голову и глядя далеко впереди себя, он, кажется, не замечал ничего вокруг. Руки сведены за спиной, короткое ветхое пальтишко застегнуто на все пуговицы, давно отслужившая свой век кепка глубоко посажена на голову, шаги размеренные и неторопливые. Ни разу не обернувшись, он дошёл до подводы. Так же, не оборачиваясь, сел на её край.

– Но, курва, пошла! – Хлестнул кобылу вожжами полицай.

Тоскливо заскрипели колёса, подвода нехотя тронулась, и через некоторое время муж скрылся из вида за углом соседней избы.

Целую неделю она находилась в неведении относительно судьбы мужа. Изредка до нее доходили противоречивые слухи то о том, что мужа держат в районной полицейской управе, то о том, что его видели среди арестованных в городском гестапо Рославля. Кто-то сказал, что слышал от прохожих, будто на днях целую машину арестованных расстреляли в лесу у Трехбратской усадьбы и будто среди расстрелянных был её муж. Иные утверждали, что им точно известно, что он жив и что его с другими мужчинами угнали к Сещинскому аэродрому на земляные работы. Сперва она жадно хватала и глубоко, эмоционально переживала каждое такое сообщение. Радовалась, просияв лицом, когда слышала сообщение, дающее хоть небольшую надежду, и выла тихо по-бабьи от плохих известий. Но потом она успокоилась и решила ждать. Раскисать ей было нельзя, ведь кругом война, голод, а у нее на руках оставались пятеро сыновей, которых нужно было кормить и о которых нужно продолжать заботиться: четырнадцатилетний Василий, двенадцатилетний Федор, шестилетний Николай, пятилетний Толик и самый младший, полуторогодовалый Семён. Старший сын, шестнадцатилетний Виктор, уже второй год партизанил в лесах, куда подался, спасаясь от массового угона молодежи на работы в Германию. Об этом, конечно, знали все в округе, но молчали. Знали и полицаи. Те, хоть и не трогали, но по пьяному делу, чуть что не так, а что-то не так у них было почти всегда, грозили пострелять всю семью «партизанского выродка».

Ей оставалось только ждать. Ждать и надеяться. Она терпеливо ждала и надеялась.

На седьмой день ожидания, когда на землю стали спускаться предвечерние сумерки, в окно постучали. Открыв дверь избы, она увидела стоящую на пороге незнакомую женщину ее лет. Короткое время они всматривались друг другу в глаза, потом женщина произнесла:

– Ты Лида Сычёва?

– Да.

– Нефёд твой муж?

– Мой.

Сказав это, она посторонилась, пропуская женщину в избу.

Войдя, женщина села у жарко натопленной печи и приложила к ней ладони. Слегка отогревшись, она произнесла:

– Я Клавдия Кулакова. Иду из Рославля домой в Митьково. Ходила на свидание с мужем... Фёдор Кулаков, до войны приемщиком у нас, в Митьковской заготконторе работал. Не слыхала?

Устав от ожидания и бесконечно противоречивых слухов, Лида молчала, кутаясь в платок и никак не реагируя на слова Клавдии. До войны она иногда слышала упоминание об этой семье от своего мужа и других деревенских, но лично ни Клавдию, ни ее мужа не знала. Ничего плохого, связанного с ними по этим разговорам, она припомнить не могла, и это ее слегка успокоило.

– Фёдор мне шепнул – их в один день взяли. Многих тогда взяли... вместе и держат. Про твоего мужа мне Фёдор молвил, сама-то я его не знаю и, понятное дело, не видела. Федор меня и просил к тебе по дороге зайти. Они с твоим до войны знакомы были по работе... Бьют их сильно. Федор бегом обронил – твой Нефёд здоровьем сильно плох... Подробно, что к чему, не ведаю – об этом на свидании нельзя было говорить. Ну а то, что бьют, и без слов видно.

– За что же их? Где их держат? Что с ними будет? – Лида с затаенной надеждой ловила в словах и выражении лица гостьи любой намек на возможность благополучного исхода для своего мужа.

– Держат их в подвале городского гестапо. Что будет дальше, я не знаю. Не знаю, Лида, – с горечью вздохнула Клавдия, – в городе говорят, что если после допросов их и не расстреляют, то отправят в концлагерь под Рославлем. Домой они вряд ли вернуться. Профилактика у немца такая, вроде прививки от партизан.

– Да какие там партизаны! Он и на службу-то не попал по здоровью. Где ему по лесам шастать? Одна ныне забота – детей прокормить...

– Ты, Лида, сходила бы туда. Может, выпросишь свидание. Мне вот, племянница выхлопотала. Она в тамошней магистратуре машинисткой состоит. Толком поговорить не дадут, так хоть посмотришь на него, и то на душе легче станет.

– Как же, станет. Что же мне без мужика делать? Как сыновей поднимать одной, коли с ним что недоброе случится? Шестеро их у меня, да бабка старая к ним в придачу, – с усталой грустью на лице показала она на занавеску, из-за которой то и дело высовывались вихрастые головы.

– Федька! Скажи Толику, чтоб Сеньке морду утёр. И тихо вы там, а то вожжами отлупцую.

Некоторое время сидели молча. Потом Лида тихо, но решительно сказала:

– Пойду. Завтра пойду. Расскажи, Клавдия, как мне его сыскать.

Они еще недолго поговорили и погоревали о своей нелегкой женской доле. Потом Клавдия собралась домой. Уходя, она остановилась в дверях, будто вспомнив что-то важное, обернулась и сказала:

– Знаешь, о чем я думаю в последние дни? Вот не вернется, вдруг, мой мужик домой. Вроде и не пожил еще, умирать не собирался, сделать, может быть, в жизни ничего такого не успел, все на потом откладывал, никуда не торопился. Жил себе спокойно на своей земле, работал, детей растил, не воровал, не разбойничал. А тут раз - незваный чужак на его землю пришел со своей правильной меркой и своими правильными словами. И решил этот чужак, что имеет право любого, кто ему не по нраву и кто под его мерку не подходит, в могилу за просто так свести... К чему я это говорю? Да, может, и ни к чему. Просто понять хочу, как это человек может так легко оскотиниться, вывериться. Ведь чтобы так, не терзаясь, другого человека на смерть напрасную обречь, какое сердце нужно иметь. Откуда берется в людях столько злого равнодушия к чужой жизни, чтобы решать за других, кто должен жить, а кто нет. Скотина, ведь, она и то зазря ничего не делает. Выходит, человек хуже зверя стал... А еще горше и обиднее мне, Лида, становится оттого, что не чужие руки ведь наших мужиков из дома в застенки спровадили. Кто-то из своих ведь постарался, донес. Свои же и уволокли... Не знаю, суждено ли будет моему Федору вернуться домой. Если не судьба нам век доживать вместе, одного тогда хочу - чтобы люди его помнили. Чтобы не забыли, что тоже жил среди них такой человек, тоже, как и они, солнцу радовался и жил бы дальше, если бы не война... Что-то я разжаловалась тебе. Ты не думай, мол, пришла вот грамотная да образованная, слова правильные говорит. Я баба простая деревенская, как и ты. Покуда мужик был рядом, никогда о жизни не думала. Незачем было. С мужиком под боком и война не такой страшной казалась... а теперь... Ладно, пойду.

Сказав это, Клавдия закрыла платком лицо и вышла в февральскую стужу.

Три километра от деревни до большака Лида прошла пешком. Выйдя на большак, она вдруг поняла, что путь в почти четыре десятка километров, составлявших дорогу до Рославля, ей на своих ногах не преодолеть. Когда выходила из дому, об этом как-то и не думала, всецело находясь тогда мыслями там, в малознакомом ей городе. И вот теперь она робко остановилась на обочине, в растерянности смотрела на проезжавшие мимо машины и не знала, что ей делать дальше.

Она уже хотела повернуть обратно в деревню, когда на обочине, громко урча и разметая снег, резко затормозил проезжавший мимо грузовик. Из его кабины почти по пояс высунулся водитель – рябой очкастый

ефрейтор возрастом где-то далеко за сорок, который, улыбаясь во весь рот и энергично жестикулируя, крикнул ей:

– Матка, ком! Бистро, бистро, ком!

– Мне до Рославля... – Неуверенно, но с надеждой произнесла она и зачем-то добавила. – С дитёнком я... Малец у меня.

– Ком нах Рослау! Карашо нах Рослау, матка! – Ещё больше заулыбался немец.

В кабине грузовика было тепло и уютно. Немец продолжая болтать, включил коробку скоростей, нажал на педаль акселератора, и машина тронулась.

– А можно? – Для уверенности спросила Лида, когда грузовик немного отъехал.

Не поняв вопроса, немец продолжал увлеченно о чем-то рассказывать, показывая пальцем то на себя, то на развешанные в кабине фотографии. Иногда он что-то спрашивал ее на немецком, а она, не зная языка, молчала. Немца это не очень беспокоило, и он продолжал свою болтовню, временами цокал языком и чему-то громко радовался. Лида втайне была благодарна сейчас этому болтливому немцу. Из благодарности за то, что он не позволил ей мерзнуть на этой февральской стуже, она готова была слушать его болтовню, кажется, бесконечно, хотя почти ничего в его словах не могла разобрать.

Из того многого, что он ей говорил, а больше из фотографий, она поняла только, что его зовут Герберт Вайс, родом он из неведомой ей Тюрингии, у него есть где-то там свой дом и дома у него не то магазин автозапчастей, не то маленькая семейная мастерская по ремонту автомобилей. У него есть мать, отец, жена, две дочери и сын Хайнц, «панцирзольдат», то есть танкист, который сейчас где-то на Кавказе. Когда он говорил про сына, его болтовня на короткое время приобретала оттенок гордости. Когда же рассказывал про дочерей, его глаза светились умилением.

Проснулся спавший у нее на руках сын и уставился своими голубыми глазами на немца. Лида достала из кармана вареную картофелину и стала аккуратно, боясь намусорить в кабине, счищать с нее кожуру.

– Сын. Сынок мой младший, Семёном кличут. – Пыталась объяснить немцу Лида, кивая на сына.

– О, гут русиш юнге! Карош малчик Земьён.

Очистив картофелину, Лида стала отламывать от нее маленькие куски и давать сыну. Немец замолчал, с удивлением и интересом наблюдая, как маленький русский ребенок один за другим жадно поедает сизые кусочки холодного картофеля.

Больше за всю дорогу никто не проронил ни слова. Когда впереди показались окрестности города, немец остановил машину и показал пальцем вперед.

– Аллес. – Как бы извиняясь произнес он. – Фрау надо виходит.

Быстро сообразив, что дальше ей придется идти пешком, Лида коротко поблагодарила шофера и открыла дверь кабины, собираясь

спуститься. Уже поставив ногу на подножку, она ощутила, как немец взял ее за руку выше локтя. Она хотела вырвать руку, закричать и бежать прочь, когда увидела перед своим лицом плитку немецкого шоколада.

– Битте. Киндер надо эссен, кушайт. - Немец протягивал ей шоколад, одновременно заглядывая в глаза, как будто пытался прочесть в них что-то важное для себя.

Ничего не сказав ему, она взяла шоколад, быстро спустилась с машины и скоро зашагала в направлении города.

Машина еще некоторое время стояла на обочине за ее спиной, а потом заурчала, быстро набирая скорость, обогнала ее и помчалась к городу, оставляя за собой вихрь клубящегося снега.

До города добралась быстро. Она благополучно прошла немецкие посты и вскоре уже брела по центру. Обрисованное ей Клавдией здание Лида нашла без особого труда. Некоторое время она, оробев, стояла на тротуаре, наблюдая за входом в это здание. Сновали взад-вперед люди в разномастной немецкой форме и в штатском. Подъезжали и отъезжали машины и мотоциклы, звучали приветствия и команды. Никто не обращал на нее внимания.

Постояв недолго, она нерешительно поднялась по ступенькам, прошла через массивную дверь и остановилась, не зная, что ей делать дальше. Перед ней тут же возник молодой немец в форме мышинового цвета с автоматом на шее. По виду, немец был невысокого чина. Он строго стал ее что-то спрашивать по-немецки. Лида пыталась ему по-русски объяснить цель своего прихода, но он, быстро махнув на нее рукой, крикнул что-то коротко и гортанно в глубь коридора.

Дверь одного из кабинетов открылась и из него вышел представительный мужчина лет сорока в добротном хорошо скроенном двубортном гражданском костюме серого цвета, при галстукке и с аккуратно зачесанными назад редкими, цвета дорожной пыли волосами. Не обращая внимания на немца, уверенной походкой он подошел к женщине и устоялся на нее, скривив губы в притворно сладкой улыбке.

– Чего тебе, баба? – Спросил он на чистом русском языке.

Она рассказала, кто она, откуда и зачем пришла. Мужчина довольно оскалился:

– Опоздала ты. С рассветом спровадили твоего муженька со всеми его поделеньниками в концлагерь. Там-то, если не подохнет, то, будь уверена, вся дурь из него окончательно выйдет. Навсегда потеряет охоту шутковать с новой властью. Сволочь партизанская! – Выругался он.

От такого неожиданного для нее поворота событий она заплакала в голос, инстинктивно крепче прижимая ребенка к себе. Чувствуя состояние матери, сын тихонько захныкал у нее на руках, а потом и сам заревел во весь голос.

Эта неожиданная реакция озадачила собеседника и остудила его патетический настрой. Зло цыкнув, чтобы она побыстрее успокоилась сама и успокоила ребенка, он рассказал ей, как добраться до лагеря и объяснил, как

получить свидание с мужем. После этого, он что-то коротко сказал по-немецки продолжавшему стоять тут же солдату и вернулся в кабинет, из которого вышел к ней.

Солдат, строго взглянув на нее, очертил автоматом в воздухе красноречивую дугу в сторону входной двери.

– Вэк!

Она опять оказалась на улице.

Через три с половиной часа она, наконец, добралась до концлагеря и сидела в каком-то тесном неудобном помещении со стенами из плохо отесанных досок и маленьким подслеповатым окошком. Под потолком тускло светила одинокая лампочка. Дежурный шарфюрер, проводивший ее в это помещение, привычным распорядительным жестом указал рукой на лавку, убедился, что его команда понята и выполнена, и тут же вышел, отдав кому-то на ходу громкое распоряжение.

Прошло не больше десяти секунд, как в помещение вошел немецкий солдат. Он так же молча показал на узелок с едой. Лида хотела сказать, что узелок уже проверяли, но, спохватившись, быстро положила его на стол и развернула. Солдат брезгливо посмотрел на нехитрую и скудную еду – краюху ржаного хлеба, маленький кусок старого пожелтевшего сала, луковицу, да полдюжины сваренных в кожуре картофелин и показал на ребенка. Так же молча и по-деловому он проверил одежду сына, а затем и ее самой. Обнаружив в кармане ее тужурки плитку немецкого шоколада, он повертел ее в руках, а затем с некоторым интересом и удивлением посмотрел на женщину. Хмыкнув, он отдал ей шоколад, после чего отошел к двери и встал возле нее.

Миновало совсем немного времени, и в помещение ввели мужа. Лида его сразу узнала, но она никогда не видела его таким, как сегодня: худой и изможденный, с жесткой щетиной на ввалившихся щеках, с нездоровым румянцем по всему лицу, с заострившимся носом и опавшими плечами, он, казалось, всем своим видом был живым напоминанием о смерти. Его вид напугал ее еще больше, чем его арест. Только глаза выдавали в нем неукротимое стремление к жизни. Эти ввалившиеся глаза, горевшие лихорадочным блеском, несмотря на болезнь и выпавшие испытания, были по-прежнему такими знакомыми и такими живыми. Они говорили ей, что перед ней стоит все тот же человек, которого она знала всегда.

Она не чаяла уже увидеть его живым и от этой неожиданной радости, оказавшейся такой большой и значимой для нее в этот миг, тихо заплакала. Слезы обильно текли по ее щекам, она торопливо утирала их кончиком платка и не могла оторвать взгляда от мужа, сидевшего сейчас напротив нее.

Опомнившись, она развернула узелок с едой и придвинула к нему. Закашлявшись, Нефёд положил свою горячую ладонь на ее руку и сказал, чтобы она не беспокоилась о нем. Он просил ее рассказать о домашних делах, о детях, спросил, не было ли известий от старшего сына.

Собравшись с мыслями, она коротко рассказала о том, как жила все это время без него, как узнала о том, где он находится, как добиралась к нему и как искала его.

Услышав про ее встречу с человеком в сером костюме, Нефёд на мгновение замер, черты его лица обострились еще больше, глаза уставились в одну точку.

– Михайлёнок! – Едва слышно с ненавистью произнес он.

Очнувшись от короткого забытья, он стал снова расспрашивать ее про домашние дела.

– Да у нас-то все ладно будет... Ты, вон, совсем плох. Что же тебя не лечат? С тобой-то что будет дальше? – С тревогой в голосе задала она мучавший ее вопрос.

– Сама видишь. – Помрачнел Нефёд. – Не выбраться мне отсюда. Не сдюжу.

Он зашелся в приступе сильного кашля, от которого у Лиды сжалось все внутри, и она, не в силах больше сдерживать себя, уже в который раз за сегодняшний день, заплакала.

Свидание закончилось неожиданно быстро. Дежуривший у двери солдат подал команду и открыл дверь.

– Даже сына толком не посмотрел, – огорчился Нефёд, – ты, Лида, главное, детей береги. Семёна береги – мал он совсем... Прощайте.

Он обнял порывисто жену с сыном и направился к двери. Спohватившись, Лида сунула ему в руку узелок с едой и под нетерпеливые окрики солдата, торопившего ее, вышла с ребенком на улицу.

Она больше никогда не увидела своего мужа. Через несколько дней он умер в концлагере. Об этом она узнала много позже, от тех, кто был с ним и смог вернуться оттуда живым. Эти несколько минут сбивчивого общения за колючей проволокой под охраной немецкого солдата и были последними мгновениями ее семейной жизни. Она пережила эту войну и больше никогда не вышла замуж. С ней пережили войну и пятеро ее сыновей – пятилетний Толик незадолго до прихода Красной Армии заболел дизентерией, лечить его было некому и нечем. Он умер под грохот канонады приближающегося боя. Ей одной пришлось ставить на ноги пятерых сыновей, младшим из которых долгие годы летело в спину обидное слово – «безотцовщина». В борьбе за будущее своих детей в годы послевоенного голода и разрухи она была властной, жесткой и иногда даже жестокой по отношению к ним. Наверное, ее жестокость не всегда была справедлива, но, может быть, именно благодаря этой до самозабвения иступленной требовательности, ее сыновья смогли выжить, вырасти, создать свои семьи и дать жизнь своим детям.

Шли годы. Как-то пятиклассник Семён набедокурил в школе. Директор сельской школы остановил его во дворе школы, отозвал в сторону, усадил на поваленное бревно и сам уселся рядом. Вместо поучений, он неожиданно сказал:

– Ты знаешь, что мы с твоим отцом были вместе в концлагере?

– Нет.

– Это правда. Мы были рядом со дня нашего ареста и до дня его смерти... Нас выдал предатель. Мы с ним потом рассчитались. Тогда арестовали большую часть нашей подпольной организации. Нет, твой отец не был подпольщиком - он был связным нашего подполья и партизанского отряда... Когда нас арестовали, немцы, как оказалось, толком ничего про нас не знали. Это нас и спасло. Твоему отцу было многое известно, и мы боялись, что он не выдержит пыток и выдаст нас... Теперь ты уже подросток и тебе можно об этом сказать. Ты должен понять... мы, арестованные члены подполья, пришли к тяжелому для нас решению – убить твоего отца там, в застенках, чтобы он под пытками, в бреду или по неосторожности ничего не смог сообщить немцам. Потом мы все же отказались от этого намерения. И, слава богу, что не взяли напрасный грех на душу... Отец умирал тяжело... перед смертью бредил, долго метался в горячке, забился под нары и в бреду все просил истопить ему баню... Баню, это было последнее, что он просил. Он был настоящим человеком и умер, никого не выдав... Ты не подводи его имя.

Давно уже нет на свете бабки Лиды. В силу, наверное, малого возраста, я никогда не говорил с ней о войне. Все, что я знаю об этом, я слышал от отца, который и сам по малолетству не мог помнить войну, а помнил только свое послевоенное голодное детство, узнавая войну по детским играм на полях утихших сражений среди сожженных танков, брошенных немецких орудий и искореженных самолетов со свастикой на хвостах, по нелепым и ненужным смертям своих товарищей, с неодолимым мальчишеским любопытством пытавшихся понять внутреннее устройство найденной ими немецкой пехотной мины, а еще по рассказам тех, по чьим душам эта война прошагала тяжелыми кованными сапогами, навсегда оставив в них свой грязный след. Я никогда не видел своего деда, бабка Лида умерла много лет назад, уже нет отца и его братьев и некому задать набегающие порой вопросы о той далёкой войне. И такой важной кажется сейчас простая мысль – надо помнить и о том, что жили на этой земле люди, может быть, не совершившие ничего большого и великого, которые ушли раньше времени, но совсем не напрасно отдали свои жизни. Кто-то однажды очень верно сказал – пока мы будем это помнить, нас никому не победить.

Давайте будем помнить.

Боль и небыль

Страсть к писательству, дремавшая в нем до поры, проснулась внезапно и захватила его с головой. Вымучив лет пять назад свой первый рассказ, казавшийся ему невероятно талантливым, и осторожно показав этот рассказ кое-кому, сведущему в сложении слов в предложения, он получил вежливый и достаточно сдержанный, положительный в целом отзыв на свой опус с несколькими, но весьма существенными «но» и тут же скис, понимая данным ему от природы чутьем, что чего-то он еще не понимает.

Разочаровавшись в своем писательском умении, но, привыкнув доводить начатое до конца, он переделал свой рассказ, строго следуя рекомендациям рецензента, и отложил его в сторону. Некоторое время спустя, он прочитал рассказ и вновь его переделал. Потом переделал снова. Потом снова. Когда переделывать больше ничего не захотелось, он удовлетворенно убрал белые листы в шкаф и успокоился.

...Пробуждение было внезапным и бурным. Все началось с одной забавной истории, невольным участником которой был он сам. История была настолько забавна и одновременно грустна, настолько необычна, возникнув, казалось бы, из ничего в обычной повседневности, что о ней захотелось поведать. Совсем неважно кому. Придя домой, он наскоро записал эту историю, прочитал ее и без всякой помощи специалистов понял, что у него получилось.

Его будто прорвало. Писал много и с упоением. Мысли сами бежали к нему – такие разные, такие свежие, такие красивые. Ему оставалось только придавать им форму и класть на бумагу.

Мысли приходили к нему утром, приходили вечером, ночью. Если мысль не приходила, ему стоило только подумать об этом – и вот она, тут как тут, дожидается. Писал о пережитом, писал о волновавшем, писал о том, что навсегда осталось только в мечтах. Немного похулиганил, конечно, так, для разнообразия и поднятия настроения. В остальном же, старался быть честным перед собой и перед потенциальным читателем и, по необходимости, серьезным.

За год он написал столько, что хватило бы на увесистый том. Все это время его неотступно терзал вопрос: каково это – быть писателем? Очень хотелось узнать по-настоящему, и он решил издать книгу. Иначе ведь не узнаешь. Отобрав лучшее, он помчался в издательство.

Книга вышла. Долгожданная, вымученная, красивая, быстро разрушившая скептическое отношение издателя к молодому автору. Книга вышла замечательная.

Оказалось, что писателем быть больно.

Замечательная книга не принесла ему радости. Наоборот, она принесла с собой чувство неприятного беспокойства, которого он не знал раньше.

Зачем ему было это нужно? Жил бы себе и дальше как все, не высовываясь. Зачем нужно было доставлять демонстрацией своей незаурядности неудобства окружающим? Одно дело сознавать, что где-то есть люди не такие как ты, совсем другое – знать, что это твой сосед, которого ты раньше не всегда замечал и на фоне которого ты чувствовал себя цезарем. В общем, кто его просил высовываться?

Он возненавидел свою книгу. Возненавидел вежливые похвалы людей, не имевших литературного вкуса. Его приводили в тихое бешенство менторские благословения личностей, лишенных творческого начала, вполне серьезно разрешавших ему слыть писателем: «я бы так не смог написать», – рассудительно, по-деловому, без малейшей эмоциональной окраски своей

речи констатировал ментор, признавая тем самым за ним некое право быть. «Конечно, не смог бы!» – оскорблённо кричал он в своей душе. – «Конечно, не смог бы! Да как у тебя мозги повернулись подумать о чем-то другом! Твое интеллигентное происхождение не дает твоей выхолощенной личности права судить о степени таланта такого крестьянского быдла, как я, и, уж тем более, сравнивать свой творческий потенциал с моим! Ты чего сравнивал вообще? Где ты это нашел?!» Ментор, продолжая поучать, говорил ему, что многое, выдаваемое в его книге за правду, есть фантастика, которая не может иметь место в жизни, а он, не находя от обиды и отчаяния слов, только шире открывал глаза и молчал. Что он мог сказать, когда фантастикой называли самое болезненное и мучительно пережитое им самим? Как он мог сказать об этом человеку, не знавшему боли?

С каждым днем боль становилась все больше, а веры в себя оставалось все меньше.

Терзаемый разочарованием, желая выплеснуть переполнявшую его боль, он сел за новую книгу.

Где-то на третий день работы он почувствовал, что боль стала понемногу уходить...

Рождение критика

Смысл своей жизни Коля Кочетов искал старательно и долго. Будучи совсем маленьким, он и смысл этот видел незамутнённо и просто: если родился – живи! повезло! Другим вот не повезло, они и не родились. А ты радуйся выпавшему счастью – в этом весь смысл твоей жизни и запрятан.

Подрастая, Коля стал задавать себе разные неожиданные вопросы, на которые не всегда находил нужные ответы. От этого смысл Колиной жизни терял ясные очертания и привычную стройность, уходил то в одну сторону, то в другую, а иногда и вовсе исчезал.

К двадцати пяти годам Коля запутался окончательно. Неожиданных вопросов, желая сохранить хоть какую-то ясность в понимании смысла своего земного существования, он себе уже два года как не задавал, но ни к чему хорошему это не привело – смысл жизни улетучился совсем.

Раздосадованный, Коля наскоро отпраздновал в тесном семейном кругу четвертьвековой юбилей и затосковал. Тосковал долго и с наслаждением.

Когда наслаждение иссякло, а тоска всё равно осталась, Коля решил, что смысл надо искать в работе. Вот и коллеги, хоть он и молод относительно и вроде бы зелен, не устают обращаться к нему за советами да консультациями, а то и вовсе беззастенчиво норовят воспользоваться готовым результатом Колиного труда. Прикинув то и это, Кочетов вознамерился стать лучшим по профессии. Обложившись институтскими конспектами, которые он предусмотрительно сберёг, Коля восстановил в

памяти знания, чуть подрастроченные за годы примирения теории с практикой, и ринулся в бой.

Битва оказалась скоротечной, и Коля её проиграл. Совсем быстро для самого Кочетова выяснилось, что он начисто лишён карьеристских устремлений, а без этого в таком сложном и ответственном деле – просто никак. Больше того, к немалому Колиному удивлению обнаружилось, что коллектив просто кишит жаждущими славы и почёта. Все они, пихаясь и толкаясь, энергично работали локтями, расчищая себе дорогу к мечте и нисколько не стеснялись этого. Самым прискорбным для Кочетова оказалось то, что практически все соревнующиеся входили в клуб паразитирующих на его уме и таланте.

Добровольно и задолго до срока сойдя с дистанции, Коля впервые в жизни без благоговейного страха и суеверного трепета подумал о кладбище. «Там хорошо, тихо и спокойно, – грустно думал Кочетов, – никто никуда не бежит, никто никому не мешает, все счастливы. Вот бы перепрыгнуть сразу в шестьдесят. Ну там, юбилей, пенсия и всё такое, это понятно. Нет, ещё пару годиков можно пожить, ну а потом – непременно туда, под берёзки, в тишину и покой».

На Кочетова навалилась вековая усталость, он уже ощущал себя шестидесятилетним дедом и ни о чём больше не мог думать, как о приближении собственной старости.

«Разве есть он, смысл-то? – философствовал Коля, – враки это всё и выдумки беспокойных. Успокоиться надо».

Но что-то, какая-то смутная и почти не сознаваемая вибрация Колиной души, не давала успокоиться, подталкивала мелкими тычками в спину и заставляла двигаться дальше – к продолжению поиска смысла собственного существования.

– М-да, – скептически и несколько высокомерно произнесла, глядя на тщедушную Колину фигуру, дородная директриса местного колледжа, куда Кочетов бережно принёс свои знания, – уж больно как-то молод.

– В педагогике – смысл моей жизни. – С трепетной надеждой в голосе убеждал её Коля. – Передача накопленных знаний другим людям – моё подлинное призвание.

– Посмотрим. – Подвела итог разговору директриса и кивнула в знак окончательного своего согласия головой.

Коля старался вовсю и передавал знания вдохновенно. Не менее вдохновенно сопротивлялось получению этих знаний студенчество. К дате выпуска выяснилось, что Коля одержал верх – дипломы получали уже не беззаботные оболтусы и разгильдяи, а люди, в которых вполне можно было признать специалистов. Только если очень пристально вглядываться.

Получив от вчерашних студентов положенную порцию похвалы и уверений в любви и вечной памяти, Кочетов впал в эйфорическое состояние, очнулся из которого только осенью, когда понял, что перед ним снова сидят двадцать пять оболтусов и всё надо начинать заново.

Колина взяла и на этот раз, но уже не такой сильной была эйфория, и прогнал он её довольно быстро, без особых трудностей и вредных последствий для организма.

На пятый или шестой год Коля отчётливо осознал, что между извечной цикличностью учебного процесса и поступательно-восходящими устремлениями его души компромисса не будет никогда, и ужаснулся этому открытию. Очередная выстроенная лично им конструкция подлинного человеческого счастья оказалась химерой.

Прокатившись по образовательному кругу по инерции ещё пару раз, Кочетов одиноко и отрешённо сошёл на пустынной и неудобной остановке с облупившимся от времени, но старательно кем-то подновляемым указателем названия: «Щасья нет».

Со всех сторон, куда хватало взгляда, остановку окружал замусоренный пустырь, серый от принесённой пыли и от сознания собственной пустоты.

Кочетов опустил голову и пошёл наугад. Шёл долго, ни о чём не думая и ничего не замечая. Поняв, что притомился, Коля поднял голову, огляделся и увидел, что вокруг всё так и осталось прежним – серость, пустота и мусор.

Он почувствовал, что начинает сходить с ума. Цепляясь за реальность, блуждал взглядом по серой пустоте и пытался выхватить из нагромождений бесполезного мусора то, что смогло бы дать ему хоть крохотную частицу смысла.

– Глупец! – Истерично закричал Коля через пару минут. – Вот оно! Это же и есть кладбище смысла! Ты пришёл к тому, что искал!

Встав на четвереньки и издавая звуки, которые казались ему саркастическим хохотом, но на самом же деле были жуткой смесью детских всхлипов, мычания и дикого звериного воя, Кочетов переползал от одной брошенной вещи к другой, брал её в руки, разглядывал, а потом с какой-то радостной злостью отбрасывал в сторону и быстро переползал к другой.

Он неистово отплясывал на недописанных кандидатских диссертациях, издевательски тыкал пальцем в отвергнутые и покалеченные собственными же создателями скульптуры, лежавшие на земле в таких нелепых положениях, что невозможно было выдумать самому. Большие и маленькие картины, скрюченные фотографии, линованные листы с витиеватыми росчерками нотных знаков, мудрёные агрегаты непонятного назначения, растерзанные школьные журналы, толстые подшивки газет, пробирки с плесенью, книги...

Книг было особенно много. Коля взял одну из них и сел на поваленную рядом скульптуру какой-то неприятной развязано-абстрактной формы, которая видимо, что-то должна была символизировать, но от Колиного сознания ускользнуло, что именно.

Он открыл объёмный, добротный изданный экземпляр и прочитал на титульном листе: «Анатолий Ойкуменов, «Миксаматозис», роман-диалогия. Книга первая, «Абсолют».

Коля не заметил, как с небывалым для себя интересом погрузился в чтение. Потеряв счёт времени, он листал страницу за страницей, лицо его прояснилось, делалось светлее и наполнялось радостью.

– Кто же так пишет!!! – Восторженно прокричал Кочетов, одним махом осилив две первых главы. – Кто же так пишет! Это же чёрт знает что! Разве можно так писать! Только послушать, что он тут нацарапал!

Бережно отложив книгу в сторону, Коля энергично принялся собирать другие, то и дело, поглаживая их корешки ладонью. Собрав очередную стопку, он, как бы боясь спугнуть неожиданно свалившееся на него счастье, осторожно открывал какой-нибудь том, робко начинал читать, но уже через минуту радостно захлопывал книжку.

– Нет, ну это же надо такое насочинять! Просто дико читать! Писатели, называется!!! Литераторы! Ну нет, это нельзя так оставлять! С этим надо бороться! Тургеневы! Карамзины!..

Солнце клонилось к закату. Коля жадно собирал книги, громко разговаривая то ли с ними, то ли с их создателями, то ли с самим собой, а может быть, со всеми сразу. На небо взошла одинокая и грустная звезда, возвестившая миру о рождении нового критика.

Царская доля

Царь Демьян Шишнадцатый ночью не спал. Выпростав из-под лоскутного одеяла жидкую бородёнку, он лежал, уставив немигающий взгляд в темноту, туда где должен быть потолок.

Невеселые мысли уже который день не давали ему покоя. Все в царстве было не так. На границах опять не ко времени разбушевался Соловей Разбойник – грабит среди бела дня проезжих честных купцов и, что хуже всего, стратегические царские обозы. Продолжали серьезно беспокоить мировые цены на горох. Ведь, если их падение продолжится и после Николина дня, то крах будет неминуемым, тогда все узнают, что казна царская пуста, что всю ее растащили по своим вотчинам ближние бояре. В царском крупяном ларе намедни мышь с голодухи повесилась. Чем не тревожная примета? Тут еще думные бояре очень некстати и не по делу роптать начали, подавай им одинаковых привилегий с ближними боярами, а нет, так ближних – в опалу немедля. Того и гляди, смуту затеют, импичмент законному монарху, помазаннику Божьему, хранителю и гаранту объявят. Как же они не понимают, что просят невозможного? Если все будут с привилегиями, то зачем тогда эти привилегии, какая тогда в них необходимость и польза? А ближних отлучить тоже никак нельзя. Те, хоть и лицемеры да подлецы, зато пока к царской кормушке допущены, за царя горой стоять будут, будущие подачки отрабатывать. Отрабатывать... А коли нечего отрабатывать будет? Что тогда? То-то и оно, что как ни кинь, а всюду клин выходит.

Да, надо срочно выбираться из этой западни. На одном горохе державу не удержишь. Худо быть сырьевым придатком заморских королевств. Только вот, как выбираться? Надо бы нашим умельцам велеть придумать что-нибудь эдакое, чтобы все короли враз удивились, ахнули и зауважали. Только где они, умельцы-то? Которые померли от недоедания, а которые за моря на чужие хлеба бежали. Да и те, что остались, давно в коробейники подались, совсем разумение в выдумках потеряли.

Худо. А тут еще давеча Тридесятый король поучать вздумал, письмо по дружбе прислал – не всё, карябает, у тебя, друг Демиан, с правами, да свободами благополучно. Холопы уж у тебя больно бесправны.

На то они и холопы, чтобы быть бесправными! При мыслях о Тридесятом короле Демьяну сделалось особенно неприятно. Он откинул одеяло, резко вскинулся и сел на полатах, свесив с них худые босые ноги и погрозив в темноте кому-то невидимому кулаком. Вот у меня в королевстве, пишет король, любой холоп может выйти на ратушную площадь и крикнуть, что я, король, дурак, а у тебя, венценосный мой друг, за такое сразу голову секут.

Поклёп! Чистый поклёп, твое Тридесятое величество! Нешто за такое голову секут? Да и в моем царстве любой голодранец беспорточный, любая голь перекатная может выйти под окна царского терема и орать, сколько влезет, что Тридесятый король дурак. Пусть орет на здоровье. Протрезвеет, сам уйдет, еще и шубу с царского плеча получит за устроенную царю потеху.

При мысли о шубе у царя опять испортилось настроение. Где же на всех голодранцев и пропойц шуб набраться? Свою-то одну-одинехоньку, и ту моль доедает.

А еще марают в своей цидулке этот гнусный королишка, будто намеренно пожаловался в междукоролевскую ассамблею на творимый в отношении него произвол Змей Горыныч Двенадцатиглавый. Плачется, паскудник, дескать, пятого дня терпел от царского богатыря Ермилы несправедливые обиды. В истреблении Супонькиной деревни, бает, только одна его голова участвовала, да и та была избирательна – тех, которые признавали змеиный суверенитет, не трогала. За что же, кляузничает дальше омерзительная рептилия, и по какому такому междукоролевскому праву Ермила ей две головы снёс? Вот и нудит король: покарай Ермилу, посади на кол, а лучше Змею выдай, тот ему сам справедливый суд учинит. Тогда, говорит, все заморские короли довольны тобой останутся и разрешат тебе покупать у них Кокаколу-квас не втридорога, но вдвадорога наверняка.

Как же, умники, посажу я Ермилу на кол! Натекос-ся выкусите (маленький сморщенный кукиш устался в слюдяное оконце)! Не по вашему ли наущению я, старый хрен, мораторий на казни объявил? Да и как же мне без войска оставаться? Нашли дурака! А заморская Кваквакола ваша мне и даром не нужна. Сами травитесь!

Откуда-то издалека, сквозь слюдяное оконце едва-едва заметно стал пробиваться рассвет. Царь Демьян нащупал босыми ногами на полу валенки, влез в них, взял с лавки корону, нахлобучил ее на лысую голову и собрался

по многолетней своей привычке спуститься в темницу делать узникам царский обход: справиться об арестантских нуждах и жалобах, кого-то утешить, кого-то пожалеть, кому-то копейку дать. Сделав в потемках шаг, царь запнулся обо что-то и чуть не растянулся на полу. Опустившись на четвереньки, он нащупал что-то тонкое и длинное, торчащее из-под лавки.

Это была удочка! Длинная удочка для рыбной ловли – подарок Тринадцатого шаха! Как же давно это было. Сколько воды утекло с тех пор. Всё собирался пойти на реку поудить рыбу, да так и не сходил...

А жизнь прошла!

– Я устал! Я очень устал! – Простонало царское величество.

За дверью царской опочивальни раздался легкий шорох и послышалось тихое шушуканье.

Не выпуская удочки из рук, Демьян сел на лавку, оперся руками о снасть и долго сидел неподвижно. Затем он едва слышно шмыгнул носом, громко высморкался в подол рубахи, сорвал с головы корону и что есть силы швырнул её на пол. Жалобно звякая о половицы, корона покатилась в дальний угол, ударилась о стену и затихла.

В следующую минуту дверь царской опочивальни распахнулась от царского пинка и прочь от нее, с воем и визгом, держась, кто за скулу, кто за ухо, кто за нос, разлетелись во все стороны мамки, няньки и многочисленные старушки-черницы, Божьи странницы.

Переступая через павших ниц скулящих баб, как есть в исподней рубахе, царь прошел в светлицу и, не отрываясь, выпил жбан холодного кваса.

– Я устал! Я ухожу! – Прокричал неведомо кому царь и удалился со двора, размахивая удочкой.

Четверть часа спустя по царскому дворцу разнёсся слух – царь Демьян Шишнадцатый, прозванный в народе за стойкость духа Непокколебимым, отрёкся от престола.

«Варэнички»

Поехал как-то казак Панько в город на ярмарку. Дела справил удачно, с наваром хорошим остался. Всему семейству подарков накупил. Никого не забыл. Себе же дудочку у заезжего кобзаря на три фунта душистого табака выменял. Уж больно звук той дудочки ему по душе пришёлся.

Вернулся казак в станицу, подарки наскоро домашним раздал, взял в руки дудочку и с той самой минуты покой потерял. Ест без удовольствия, спит одним глазом, вино пьёт и то нехотя. От табака самосадного, своими руками любовно выращенного, нос воротит. Хозяйство забросил. На жинку не посмотрит. Ходит от плетня к плетню с дудочкой в обнимку, дует в неё усердно, думу думает, вдаль смотрит, молчит.

Зашёл к нему как-то на свет да на звук незнакомый, кум Ничипор. Зашёл, и видит такую картину – сидит посередь кухни в одних портах да

исподней рубахе кум Панько, дует старательно в невиданную в этих краях доселе дудку, звуком жалостливым да видом своим унылым мух от опары отгоняет.

– Здоров ли, куме Панько? – Приветствовал хозяина гость.

– И тебе по-здорову бывать, кум Ничипор. – Ответил тот, нехотя отложив своё занятие.

– Чую, звук нездешний воздух над вишнями у кумовой хаты колышет. Дай, думаю, зайду, утолю любопытство.

– Вот! Лихоманка её заberi! – Пожаловался Панько на дудочку. – Какой день пытаю, чтобы «Варэнички» мне сыграла, а она ни в какую.

– Та може ты не в ту дырку, куме, дудишь?

– Та в ту дудю, куме, в ту! Мне кобзарь на ярмарке показывал.

– Може грабли свои не так щеперишь? – С великой серьезностью спросил Ничипор.

– Може и не так. – Вздохнул Панько, досадливо взглянув на свои руки. – Про то я не сообразил у кобзаря расспросить.

– Тогда надо спросить того, кто знает.

– Та где ж ему взяться в наших камышах? Кобзаря того и след давно, поди, простыл. Ищи его с обеда в туретчине али в персах.

– И то верно. – Сдвинул шапку на лоб кум Ничипор. – Надо ехать.

– Куда?! – Удивился Панько.

– Как куда? Туда, где люди охочи до таких вот выдумок и больше нашего в них толк имеют.

– Та то ж в Гирляндии!!! – Замер от изумления Панько. – Кобзарь про то хвастал.

– А шо, думаешь, в Гирляндии твоей не люди живут? «Варэнички», по-твоему, не знают, да?

– Та знают, поди... як же ж не знать. – Смутился Панько. – Сказывал кобзарь, христианский народ те гирляндцы тож. Должны знать, раз так. Не могут не знать! – уже увереннее закончил он.

– То-то и оно, куме! Сбирайся! И дрючок свой с дырками не забудь, прихвати. Как бишь его?..

– Свистл¹.

¹ Вистл (вискл) (whistle - свисток, tinwhistle – жестяной свисток) (англ.) – чаще всего короткая продольная флейта группы свистковых духовых инструментов, нехроматический народный музыкальный инструмент в Ирландии, Англии и некоторых других странах. Общепринятое название ведётся от начала изготовления в 1843 году в Англии Робертом Кларком инструментов из белой листовой жести, ставших классическим образцом вистла (тинвистла).

* * *

...Доехали ли кумовья до Ирландии, отыскали ли то, что хотели, про то ни в летописях, ни в поминальных свитках ни слова не сказано. Однако же помнят деды, что проезжая как-то те места и услышав от казаков своего конвоя название станицы, следовавший по высочайшему соизволению в Тифлис наместник государя-императора генерал-губернатор Закавказья граф Н. велел остановить коляску, вышел из неё, окинул сановным взором представшую ему станицу, подкрутил ус и, усмехнувшись, произнёс всего лишь одну фразу:

– Х-хех!! Варэнички!.. Свистл тебе со сметаной в самое ухо!

Смысл этой фразы никто из окружения графа, конечно, не понял. Но с тех пор повелось у станицы другое, взамен старому, которое уже никто и не вспомнит, название, такое же заковыристое и малопонятное, как и название большинства кубанских станиц – Свистлосметановуховская.

А ещё, говорят, вернулся в ту станицу по серьезному ранению и сильной контузии в самый разгар империалистической войны казак с германского фронта. Из трезвого из него – слова не вытянешь, такой уж молчун уродился. Но стоит только казаку махнуть чарку-другую, так тут же плечи расправит, взгляд от пола подымет, зубы языком обведёт, проверяя разговорный аппарат на исправность, и давай всем божиться, дескать, видел он в последнем бою своём, как союзные нам британцы на неприятеля под звуки волынок и дудок шли.

– А выводили те волынки – «Варэнички»! Вот те хрест!..

И уж совсем захмелев, клялся казак, что видел среди волынщиков и дударей сосредоточенное лицо Панька да бесшабашную улыбку Ничипора. Но только никто не верил ему. Мало ли что контуженному со страху привидится...